

18+

Владимир Юрьевич
Исаев

Светлый путь

Владимир Исаев

Светлый путь

<https://litres.ru/74504328>

ISBN 9785007131292

Аннотация

Владимир Исаев — мастер психологической прозы, в которой внешняя фабула часто становится лишь прозрачным намеком на глубокий внутренний конфликт. Его герои — люди рефлексирющие, живущие скорее в мире идей и ощущений, чем в мире поступков. Для него характерна камерность, пристальное внимание к детали и та особенная интонация, где ирония мешается с экзистенциальной тоской.

Содержание

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ	7
История о любви	8
Страница 1	8
Страница 2	10
Страница 3	12
Страница 4	14
Страница 5	16
Страница 6	18
Страница 7	20
Страница 9	24
Страница 10	26
Страница 11	28
Страница 12	30
Страница 13	32
Страница 14	34
Страница 15	36
Страница 16	38
Страница 17	40
Страница 18	42
Страница 19	44
Страница 20	46
Ананда	48
2	51

3	54
4	56
5	59
6	62
7	64
8	67
9	70
10	72
БЕЗ ИМЕНИ	75
1	75
2	76
3	78
4	79
5	80
6	81
7	82
8	83
9	87
10	89
11	92
12	96
Повесть о тишине, которая звучит	100
Глава 1	100
Глава 2	101
Глава 3	102
Глава 4	103

Глава 5	105
Глава 6	106
Конец ознакомительного фрагмента.	107

Светлый путь

Владимир Юрьевич Исаев

© Владимир Юрьевич Исаев, 2026

ISBN 978-5-0071-3129-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ

История о любви

Страница 1

Бабка Нюра не верила в смерть. Не в свою, разумеется. Свою она воспринимала как нечто сугубо теоретическое, вроде конца света или пришествия инопланетян — про это говорят, но чтобы вот так, посреди огорода, с лопатой в руках — нет. Вся ее вера, вся яростная, выматывающая энергия уходила в деда Петра. Потому что дед Петр был живым воплощением той самой русской народной забавы, которая называется «игра со смертью».

Жили они в доме, который помнил еще приход красных. Дом стоял на пригорке, и ветер с реки всегда дул в щели в нижних венцах, отчего в избе вечно пахло сыростью и прелыми опилками. Нюра говорила, что это от дедова перегара, но перегар выветривался, а запах мокрого дерева оставался. Это была их атмосфера. Их личный климат, состоящий из тоски, надежды и крепкого, как канат, терпения.

Петр был мужиком хрестоматийным. Широкоплечий, с раскроенной надвое когда-то в пьяной драке бровью, из-под которой на мир глядел хитроватый, циничный глаз. Второй

глаз был чуть прищурен, словно он постоянно прицеливался в будущее, но никак не мог попасть. Он работал в мастерской, чинил трактора, и руки его, вечно в масле, умели делать чудеса с железом, но были совершенно беспомощны перед собственной печенью.

Бабка вставала в пять утра. Всегда. Даже когда болела. Она ставила чугунок с картошкой на плиту и первым делом шла не к иконам, а к кровати мужа, чтобы приложить ладонь к его лбу. Лоб был либо ледяной, либо огненный. Среднего не дано.

— Петя, — шептала она, — ты как?

Петр, не открывая глаз, хрипел что-то нечленораздельное, что означало либо «отстань», либо «все плохо». Нюра вздыхала и принималась за работу — заколачивала в доме щели, чтобы его не продуло, варила ему овсяный кисель, который он ненавидел, и заставляла пить настойку из зверобоя, купленную у местной травницы, которую сама же называла шарлатанкой.

Страница 2

Вся деревня знала историю их любви. А если не знала, то додумывала. Говорили, что в молодости Петр был таким красивым, что девки сохли, но выбрал он Нюру, потому что она умела молчать. Молчать, когда он буянил; молчать, когда он приносил с получки только пустую бутылку и синяки; и молчать, когда он лежал пластом, и врачи в районной больнице разводили руками, мол, приготовьтесь.

Нюра не готовилась. Она просто жила в режиме ожидания катастрофы. Катастрофа была ее работой. Если дед не пил неделю, Нюра ходила сама не своя — ждала, что вот-вот сорвется. Если он пил — она сидела у его кровати, меняла мокрые полотенца на лбу и причитала негромко, как ветер в проводах. Ее жизнь была разделена на этапы: «Допился до белой горячки», «Кое-как откачали», «На поправку пошел», и снова — «В запой».

Она не замечала, что эта карусель крутится и крутится, и от каждого круга у нее самой чуть больше седины, а ноги становятся тяжелыми. Она считала, что заботится о нем. На самом деле она воевала с ним. Честная, изнурительная война, где оружием были таблетки и уксусные обтирания, а поле боя — их общая, продавленная кровать.

Был момент, лет двадцать назад, когда врачи сказали Петру прямо: «Еще одна пьянка — и все». Петр тогда испугался. Он плакал, уткнувшись Нюре в колени, и клялся, что завяжет. Нюра гладила его по стриженной голове и тоже плакала. Это был их медовый месяц трезвости. Он длился полгода. Петр ходил веселый, румяный, помогал по двору, копал картошку и даже сходил с Нюрой в сельский клуб на танцы. Нюра тогда расцвела. Стала мягче, улыбчивее. Но в глазах у нее застыла тревога, потому что она привыкла ждать удара. И удар пришел.

Страница 3

Полгода спустя Петр встретил старого друга с районного завода. Посидели на лавочке, вспомнили войну. Вернулся домой Петр навеселе, с каким-то детским восторгом в пьяных глазах. Нюра стояла в дверях, поджав губы. Она смотрела на него, и в этом взгляде было такое разочарование, такая усталость, будто он предал ее не просто запоем, а предал саму суть их совместной жизни. Потому что если он переставал пить — ей не о ком было заботиться. Она теряла смысл.

Эта мысль, самая страшная, никогда не приходила ей в голову вслух. Но подспудно она жила в ней. Она кормила его, поила, лечила, выхаживала. И каждый раз, когда он выкарабкивался с того света, она чувствовала себя победительницей. Матерью Терезой, вырвавшей душу у дьявола.

Она забыла себя. Забыла, что такое спокойный сон. Она научилась спать вполуха, чтобы услышать, как он встает ночью попить воды. Она научилась определять по кашлю, начинается ли у него воспаление легких. Она знала все симптомы всех его болезней наизусть. Но она не знала своего собственного пульса.

В ее груди, где-то глубоко, за ребрами, давно уже что-то

пошаливало. Иногда, когда она нагибалась за дровами, перед глазами плыли черные круги. Она отмахивалась от них, как от назойливых мух, и думала: «Петя, не дай бог, сердечко сорвет, а я тут разваливаюсь».

Она вставала раньше него, чтобы он не видел, как она держится за стену. Она прятала таблетки от давления от него подальше, чтобы не расстраивать старика. Она считала, что его здоровье — это хрупкая ваза, а ее — чугунный котелок, который все выдержит.

Страница 4

Осень в тот год выдалась тяжелая. Сырая, холодная, с мокрым снегом, который превращал двор в кашу. Дед Петр, решив доказать, что он еще мужик, полез на крышу сарая чинить шифер. Нюра кричала ему снизу, размахивая палкой: «Слезь, старый хрен, убьешься!», но он только махал рукой и матерился весело.

Он поскользнулся. Упал не сильно, но неудачно — вывихнул плечо и ушиб копчик. Домой его вели под руки, хромающего, злого, шипящего от боли. Нюра уложила его в кровать, приложила лед, сбегала к фельдшеру, который наложил повязку. Дед лежал и стонал.

— Говорила же, не лазь, — причитала она, меняя компрессы. — Говорила же, дурак ты старый, нашел время геройствовать.

— Заткнись, — злобно цедил Петр. — Мне хуже, чем тебе. У меня кости ломит.

— У тебя, у тебя, — кивала она. — У тебя, конечно. Ты у нас главный больной.

Она мазала ему спину мазями, поила чаем с малиной и не спала две ночи. На третью ночь у нее самой подскочило давление. Жутко. Так, что стенка в глазах стала плыть, а голова словно раскололась на две половины. Она пошла на кухню, накапала себе капель из пузырька, села на табуретку и сидела, покачиваясь, держась за край стола. Петр спал в комнате.

Она слышала, как он посапывает. И это посапывание было для нее как якорь. Она держалась за него. «Нельзя мне болеть, — думала она. — Кто его выходит, если я слегу? По миру пойдет, пропадет». Она стиснула зубы, поднялась и пошла ставить самовар. Глаза слезились, руки дрожали, но самовар она поставила. Деду нужно было пить чай с медом.

Страница 5

Шли дни. Дед поправлялся медленно. Он ходил по избе с перевязанной рукой, как раненый генерал, покрикивал, требовал, чтобы Нюра подавала ему тапки и газету. Нюра подавала. Она суетилась вокруг него, поправляла подушку, укрывала ноги пледом. Она была тенью, приставленной к нему навечно.

Ее собственные боли становились все интенсивнее. Иногда она чувствовала странную тяжесть в левой руке, отдающую в плечо. Она растирала ее скипидаром, думала — ревматизм. Это же возраст, у всех кости болят. Она не знала, что это сердце, уставшее биться за двоих, сигналист о последней усталости.

Приехала их дочь, Галя, из города. Галя смотрела на мать и ужасалась.

— Мам, ты чего желтая такая? — спросила она, разбирая сумки. — Ты бы к врачу ходила.

— Да ну, — отмахивалась Нюра, забирая у дочери банку с соленьями. — Ты на отца посмотри. Вон, снова худой стал. Сердце у него шалит. Я ему настойки накапаю.

— Мам, а ты?

— А что я? Я себе не хозяйка. Я при нем.

Это была фраза, которая свела всю ее жизнь в одну точку. «Я при нем». При нем, как приложение к трактору. Как запасная деталь, которую всегда держат в сарае, но никогда не смазывают.

Галя осталась на неделю. Она пыталась заставить мать лечь отдыхать, брала на себя готовку и уход за отцом. Но Нюра все равно суежилась, мешалась под ногами, проверяла, не пересолила ли дочь суп, и все время одергивала отца: «Петя, не сиди на сквозняке».

Она не прилегла ни разу. Даже когда Галя настояла, Нюра сидела на диване, сложив руки, и смотрела в окно, прислушиваясь к звукам из спальни. Она боялась, что, если она ляжет, она перестанет слышать его кашель. А если она перестанет его слышать, он умрет. Эта логика, иррациональная и страшная, была ее двигателем.

Страница 6

На восьмой день у деда Петра случился очередной приступ радикулита. Он взвыл так, что Нюра подскочила, уронив чашку. Галя побежала за лекарством, а Нюра склонилась над мужем, глядя его по спине.

— Ничего, Петенька, ничего, — приговаривала она. — Я сейчас, я грелку принесу. Потерпи.

Она метнулась на кухню, залила грелку кипятком. Руки ее дрожали. Она вдруг почувствовала, что комната идет кругом, а в груди что-то сжалось, как кулак. Она схватилась за косяк, перевела дух. «Только не сейчас», — подумала она. Она вернулась в комнату, положила грелку деду на поясницу.

— Лежи, лежи, — сказала она. — Я сейчас компресс сделаю.

Она пошла в ванную, достала бинты и водку для компресса. Нагнувшись за баночкой, она хотела подняться, но голова закружилась с такой силой, что ей показалось, будто дом перевернулся. Она упала на колени, пытаясь ухватиться за раковину. В ушах стоял звон. Холодный пот выступил на вис-

ках.

— Петя, — хотела крикнуть она, но голос ее прервался на полуслове. Она почувствовала, как отпускает все, за что она держалась. Впервые в жизни она позволила себе не держаться. Тело, измученное, выжатое, требовало отдыха, и оно взяло его — принудительно.

Она легла на холодный кафельный пол в ванной. Глаза ее были открыты, она смотрела в потолок, где треснула штука-турка, и думала о том, что сейчас встанет и сделает компресс. Она не чувствовала боли. Только невероятная, всеобъемлющая усталость, которая навалилась на нее, как тяжелая перина...

Страница 7

Дед Петр лежал в комнате и ждал. Ждал минуту, другую, третью. Грелку сменил холод. Он повернулся на другой бок и крикнул:

— Нюра! Где ты там? Воды принеси!

Тишина. Только тикали ходики на стене.

Петр нахмурился. Он привык, что Нюра всегда рядом. Появится, как по волшебству, с мокрым полотенцем и кружкой. А тут — тишина.

— Нюрка! — рявкнул он уже громче, пытаясь приподняться на больной руке. — Спишь, что ли?

Он сел на кровати. В доме было неестественно спокойно. Не было слышно ни звона посуды, ни шаркающих шагов. Тишина была такая, какая бывает только в пустых избах.

— Нюра! — снова крикнул он, и в голосе его проскользнула нотка испуга.

Он спустил ноги с кровати и, кряхтя, встал. Пошел на кух-

ню. Пусто. На столе — нетронутый чайник. Он заглянул в сени. Никого. Слабость в ногах. Он побрел в ванную. Дверь была прикрыта. Он толкнул ее, и она открылась.

Нюра лежала на полу. Руки были раскинуты, лицо спокойное, даже умиротворенное, будто она наконец-то увидела хороший сон, который ей снился всю жизнь, но она не давала себе проснуться.

Петр замер. Он стоял, держась за косяк, и смотрел на нее минуту, может быть, две. Он не верил своим глазам. Он подошел, присел на корточки. Потрогал ее за плечо, холодное и неподвижное.

— Нюра, — прошептал он. — Ты чего? Встань.

Он тряс ее за плечо, как в детстве трясли куклу. Он был полным дураком в вопросах смерти. Смерть всегда была его вотчиной. Он играл с ней, дразнил ее, обманывал, выпивал стакан и кричал ей в лицо. Но чтобы смерть пришла к Нюре... Этого не могло быть. Нюра была вечной. Нюра была опорой.

Страница 8

Он долго сидел рядом с ней на полу. Спина болела, но

он не чувствовал боли. Он смотрел на ее седые волосы, распустившиеся по кафелю, на ее руки, которые так много для него сделали. Он вдруг понял, что впервые за сорок лет смотрит на нее просто как на женщину, а не как на санитарку. И от этого понимания у него внутри что-то оборвалось.

— Дура, — прошептал он. — Дура старая.

Он вышел в сени, накинул тулуп поверх ночной рубашки и побрел к соседям. Шел он долго, спотыкаясь о свои же тапки, и каждый шаг отдавался болью в вывихнутом плече. Соседи вызвали «скорую», но было уже поздно.

Врач, молодой парень, констатировал смерть от острой сердечной недостаточности. Он посмотрел на труп, потом на стоящего рядом бледного деда Петра, и сказал тихо:

— Вы бы сами полежали. У вас давление.

Дед Петр махнул рукой. Какое давление? Какое здоровье? Он смотрел, как увозят его Ньюру, и не плакал. Слезы застряли где-то глубоко, в той области, которую Ньюра всю жизнь называла его печенью.

Дом опустел. Не физически — вещи остались на местах, стояли банки на полках, висела одежда. Опустел звук. Никто

не шаркал на кухне, не гремел кастрюлями, не вздыхал тяжело в коридоре. Тишина.

Галя приехала на похороны, рыдала, билась в истерике. Она кричала на отца:

— Ты же ее угробил! Ты! Своими вечными болячками!

Страница 9

Дед Петр не спорил. Он сидел за столом, в той самой рубашке, которую Нюра погладила ему на похороны неделю назад (она всегда готовилась ко всему заранее), и молча смотрел в одну точку. Он не защищался. Он впервые в жизни не защищался.

Его жена умерла. Та, которую он никогда не рассматривал как отдельную личность. Она была фоном. Воздухом. Частью дома. И теперь воздух исчез. Дышать стало нечем.

Первые дни он пил. Не потому, что хотел забыться, как раньше. А потому, что хотел вызвать ее. Он надеялся, что, как в старые времена, когда он лежал в бесспамятстве, она появится с мокрым полотенцем, отберет бутылку и начнет ругаться. Он даже слышал ее голос иногда, когда засыпал. Но просыпался — в доме было пусто.

Он пытался готовить сам. Сварил суп, который Нюра варила каждое воскресенье. Получилась какая-то мутная жижа. Он съел половину тарелки и выплюнул — слишком солено. Он не мог дозваться до нее, чтобы попросить соли. Он привык, что она все делала сама, не дожидаясь просьб.

На четвертый день он надел ее фартук. Женский, в цветочек. Просто потому, что больше не было чистых. Он стоял у плиты, варил картошку и вдруг завыл. Страшно, нечеловечески, как волк на закате. Он не знал, что она так много делала. Она, оказывается, делала все. Держала этот мир на своих тонких, покрытых венами руках.

Страница 10

Внезапно он понял, что не знает, где лежат таблетки от давления. Ему стало плохо, он шатался, заглядывал в шкафчики и не мог найти ни корвалола, ни валокордина, которые она всегда давала ему, когда у него болело сердце. Он нашел один пузырек, но в нем было пусто.

Он сел на кровать, обхватив голову руками. Он вспоминал, как она всегда говорила: «Петя, я на тебя все истратила». Он думал, она имеет в виду деньги. А она имела в виду жизнь.

Она экономила на себе. Покупала ему дорогие лекарства, а себе — дешевые, которые не помогали. Она вставала в пять, чтобы успеть сбегать за свежим молоком для его желудка, а свой чай заваривала из прошлогодней заварки. Она не покупала себе новое пальто много лет, потому что ему нужны были новые сапоги — у него, видите ли, мерзли ноги.

В шкафу он нашел ее нижнюю юбку. Она была вся в заплатках. Он держал эту дырявую тряпку в руках и плакал. Плакал так, как не плакал даже на войне. Он понял, что она была святая. Но святые, как известно, умирают первыми, потому что они тратят себя без остатка.

Он пошел к ней на кладбище. Снег уже выпал, белый и чистый. Он постоял у холмика, помял шапку в руках и сказал:

— Нюра, ты как там? Слышишь меня?

Ветер гулял по кресту. Никто не ответил.

— Ты дура, я говорю, — повторил он. — На кого ты меня оставила?

Страница 11

Петр не знал, как жить без заботы. Парадокс его жизни заключался в том, что он всегда ненавидел эту заботу. Она душила его, пилила, не давала вздохнуть. Но эта же забота была его воздухом. Без нее он задыхался.

Через месяц его выставили из мастерской. Сказали, что он пьет, что не справляется, что у него руки трясутся. Он не спорил. Он вернулся в пустой дом и понял, что ему нечем заняться. Раньше он пилил, точил, чинил, потому что знал: дома его ждет горячий ужин и воркотня. Теперь его никто не ждал.

Он перестал мыться. Не потому, что не мог, а потому что не видел смысла. Кому теперь быть чистым? Нюра ушла, и свет в окне погас.

Он часто лежал на кровати и смотрел в ее угол. Там висела икона, которую она целовала по утрам. Там лежала Библия, которую она читала по вечерам. Он никогда не замечал этого угла. Он для него был частью интерьера, как обои. А теперь этот угол смотрел на него и осуждал.

Он стал замечать детали. Узоры на скатерти, которые она

вышивала. Цветы на обоях, которые она выбирала. Он понял, что она была человеком, у которого был вкус, были чувства, была душа. Он не замечал этого пятьдесят лет. Он воспринимал ее как вещь.

Он ходил по дому и трогал вещи. Ее ложку. Ее чашку. Ее иголку, оставленную в подушке. Он собирал ее осколки по всему дому, как память о себе самом.

Страница 12

Галя приезжала редко. Ей было тяжело смотреть на отца. Он превратился в старика за одну зиму. Ссутились, почернел, щеки ввалились. Он уже не пил — ему просто не хотелось. Ему ничего не хотелось.

— Пап, ты бы к врачу ходил, — говорила она.

— К врачу? — усмехался он. — Я все врачи знаю. Они меня лечили. А она... она меня не лечила. Она меня жить учила.

Он вспоминал, как однажды, много лет назад, когда он напился до чертиков и упал в канаву, она пришла за ним в грязь. Она тащила его на себе, мокрого и вонючего, и причитала. А он отбивался, орал на нее. Как он мог? Она была меньше его в два раза, а несла его, как ребенка.

Он вспоминал, как она рожала. Тяжело, с кровотечением. Врачи сказали, что второго ребенка ей рожать нельзя, опасно. Она хотела второго, он хотел сына. Она рискнула. Ребенок умер, и она чуть не умерла. А он тогда напился с горя и не приехал в больницу. Он был там, в мастерской, жаловался друзьям, что баба его подвела. А она лежала одна, в

палате, истекая кровью, и думала о нем, о Петеньке, чтобы он не волновался.

Эти воспоминания были как пощечины. Каждое воспоминание било его по лицу жесткой, холодной правдой. Он был эгоистом. Он был животным. А она была человеком.

Он не мог простить себе того, что не заметил ее ухода. Она умирала у него на глазах два года, а он думал, что это у него болит спина.

Страница 13

Однажды ночью ему приснился сон. Нюра стояла в дверях, в том самом ситцевом платье, которое он купил ей лет двадцать назад на базаре. Она улыбалась.

— Петя, — сказала она, — ты чего хмурый?

— Нюра, — закричал он во сне, — ты жива?

Она покачала головой:

— Я тебя жду. Ты готов?

— Куда? — испугался он.

— Как куда? Домой.

Он проснулся в холодном поту. Сердце колотилось как бешеное. Он сел на кровати, прислушался к ночной тишине. Тишина была плотной, вязкой. Он понял, что она звала его. Она хотела, чтобы он пришел.

Ему стало страшно. Так страшно, как не было никогда. Он не боялся смерти — он боялся встречи с ней. Потому что он

знал, что скажет она ему. Она не будет ругаться. Она просто посмотрит ему в глаза с той самой усталой, прощающей любовью, и он не выдержит этого взгляда.

Он встал, зажег керосиновую лампу (электричество отключили за неуплату) и подошел к ее иконе. Он перекрестился, как умел, неумело, по-мужски, и прошептал:

— Прости

Он не знал, кого просит — Бога или ее. Но он просил.

Он пошел на кухню, взял бутылку, которую берег, но наливать не стал. Поставил обратно. Захотелось чаю. Но чай, который он сварил, был горьким. Он вылил его в раковину и заплакал снова. Он плакал так часто в последнее время, что перестал считать это слабостью.

Страница 14

Зима затянулась. Морозы трещали такие, что птицы падали на лету. Петр топил печку, но дрова кончались. Раньше Нюра приносила их сама, по дровишку, складывала аккуратными поленницами. Он даже не знал, где лежит топор. Он нашел его в сарае, но руки не слушались.

Он простудился. Сильно, с температурой. Кашель разрывал грудь. Он лежал в кровати, укрытый ее одеялом, и ждал.

— Ну же, — хрипел он. — Ну приди. Я не могу один.

Он бредил. Ему казалось, что она ходит по комнате, ставит компрессы, что-то говорит. Он тянул к ней руки, но хватал пустоту. Он кричал ее имя, но в пустом доме голос гас, не встречая стен.

Ему казалось, что он слышит, как она на кухне гремит кастрюлями. Он приподнимался на локтях, вглядывался в полумрак, но там никого не было. Только тени от догорающей печки плясали на стенах.

Он не позвал врача. Не было сил. Да и какой смысл? Он понимал, что лечить его было некому. Вся медицина, все ле-

карства — это было ее оружие, ее магия. Без нее таблетки превращались в бесполезный мел.

На пятый день ему стало легче. Организм, привыкший за многие годы к борьбе, начал выкарабкиваться. Температура спала. Он встал, добрел до кухни, съел кусок черствого хлеба. Он выжил. Снова выжил. Как назло.

— Зачем? — спросил он у пустоты. — Зачем я жив?

Он не хотел жить. Впервые в жизни не хотел. Раньше он цеплялся за жизнь, вырывал ее у смерти зубами, пил водку и хохотал ей в лицо. А теперь он видел впереди только пустоту, покрытую тонкой коркой льда.

Страница 15

Весна пришла неожиданно. С крыш закапало, снег почернел, потекли ручьи. Петр сидел на крыльце, подставляя лицо капели, и чувствовал, как вода стекает по щекам, смешиваясь со слезами.

Соседка, тетя Клава, принесла ему пирожков и сказала:

— Петя, ты бы пришел в себя. Ну умерла, и умерла. Война, что ли?

— Война, — хрипло ответил он. — Самая страшная война. Я на той войне дышал, а эту проиграл.

— Да что ты городишь? — махнула рукой Клава. — Живи дальше.

— Как?

— Как все. Ставь картошку, сажай огород.

Он посмотрел на огород. Земля была перекопана. Нюра перекопала ее еще осенью, под зиму, чтобы весной было легче. Она думала о весне. Она готовилась к ней. А не дожид.

— Огород, — повторил он. — Да кому он нужен?

— Себе нужен, — настаивала Клава.

Он махнул рукой и ушел в дом. Он смотрел на оставленную ею одежду, на ее платки, на ее фартук, и ему казалось, что она просто ушла на минуточку, в магазин или за хлебом. Но минуточка длилась уже полгода.

Он стал прибираться. Не потому, что хотел чистоты, а потому что искал ее следы. Он перебирал старые фотографии. Свадьба. Она смешная, в белом платье, которое ей было велико. Он смотрит на нее с вызовом. Рождение Гали. Она держит ребенка, уставшая, счастливая. А он стоит рядом с бутылкой в кармане. Он проклинал себя. Зачем он пил? Зачем убивал ее изо дня в день?

Страница 16

Он нашел ее дневник. Тонкую тетрадку, спрятанную под подушкой. Он открыл ее, затаив дыхание.

«Петя сегодня снова пьян. Не знаю, как быть. Доктор сказал, что если он не бросит, то умрет. А я не могу на него кричать, он добрый, когда трезвый. Я люблю его, дурака. Я знаю, что в нем огонь. Но он сжигает нас обоих. Сегодня опять рука болела. Надо бы к врачу, но Петеньке нужно новое лекарство, я куплю ему».

Он перелистывал страницу за страницей. Она писала о нем. Всегда о нем. О своей боли — вскользь, двумя строчками. О своей усталости — как о чем-то само собой разумеющемся.

«...Когда я умру, Петя не справится. Надо, чтобы Галя была рядом. Но Галя в городе. Надо, чтобы соседи присматривали. Я напишу Клаве, попрошу. Он без меня погибнет. Он ведь как ребенок. Господи, как же я хочу пожить, посидеть на крылечке, посмотреть на закат. Но некогда. Надо бежать, Петя просил купить кефир. Если он увидит, что я устала, он расстроится».

Последняя запись была за два дня до ее смерти.

«Сегодня Петя упал с крыши. Я ужасно испугалась. Всю ночь не спала. Голова раскалывается. Но я поставлю ему банки. Он не любит, когда я болею. Надо держаться. Я крепкая. Я все выдержу».

Он захлопнул тетрадь. Сердце его остановилось на секунду, а потом забилось с утроенной силой. Он понял все. Она знала, что умирает. Она знала, что сердце слабое. Но она не пошла к врачу, потому что боялась оставить его одного. Она боялась, что он испугается, если узнает, что она больна.

Страница 17

Он стал другим. В нем что-то сломалось и что-то выросло заново. Раньше он был грубым циником. Теперь в нем поселилась тихая, пронзительная нежность.

Он начал ходить на кладбище каждый день. Не для того, чтобы поплакать (хотя и плакал), а для того, чтобы поговорить. Он рассказывал ей, как прошел день, что сварил, что прочитал в газете. Он садился на скамейку рядом с холмиком и болтал с ней, как раньше болтал с друзьями в мастерской.

— Нюра, — говорил он, — а у нас на огороде трава лезет. Ты бы видела. Сорняки, как собаки, в рост пошли. Я не умею полоть, ты знаешь. Ты всегда полола. Я только копал. Теперь я и копать не могу.

Он приносил ей цветы. Те самые, которые она любила — простые ромашки. Он срывал их на лугу за околицей и клал на могилу.

Соседи шептались, что старик тронулся умом. Может, и так. Но Петр был спокоен впервые в жизни. Он перестал ждать от жизни ударов. Самый главный удар случился, и он

его пережил. Остальное — мелочи.

Он перестал пить. Совсем. Потому что понял, что это был яд, который она принимала вместе с ним. Он больше не хотел ее мучить, даже в памяти.

Он прибрался в доме. Сложил ее вещи аккуратно. Не выбросил, нет. Просто убрал, чтобы не видеть их каждый день и не плакать. Но он оставил на столе ее чашку. Каждое утро он наливал в нее чай и ставил на ее место.

— На, — говорил он. — Пей.

Это был ритуал. Безумный, но такой человеческий.

Страница 18

Через год Петр поехал в город к Гале. Он был аккуратно одет, выбрит. Галя ахнула, когда увидела его. Он стал другим. Не больным стариком, а человеком, который что-то понял.

— Папа, ты как? — спросила она, целуя его.

— Нормально, дочка, — ответил он. — Я к тебе за делом.

— За каким?

— Научиться печь пироги.

Галя рассмеялась, но увидела его серьезные глаза и замолчала.

— Мама хотела, чтобы я умел, — сказал он просто. — Она всегда пекла, а я только жрал и кричал. Теперь хочу испечь для нее. На День Памяти.

Он стоял у плиты в квартире дочери и учился месить тесто. Руки его, привыкшие к гаечным ключам и молоткам, не слушались. Тесто прилипало к пальцам. Он ругался, но про-

должал.

— Мама бы гордилась, — тихо сказала Галя, глядя на его старания.

— Мама бы сказала: «Петя, ты все делаешь неправильно», — усмехнулся он. — И была бы права.

Но он испек пирог. Кривой, чуть подгоревший, но он сделал это. Он завернул его в чистое полотенце и понес на кладбище.

Он положил пирог на могилу и сказал:

— Нюра, я испек. Один. Сам. Ты знаешь, как я старался. Там внутри, кажется, недопеклось, но у тебя, я знаю, внутри пекло всегда как надо.

Страница 19

Петр не дожил до следующей зимы. Он умер тихо, во сне. Соседка Клава пришла утром принести молока и нашла его лежащим на кровати. Лицо его было спокойное, счастливое.

Галя приехала хоронить отца. В доме пахло тем самым запахом мокрого дерева. Она зашла в комнату и увидела, что на столе стоят две чашки. Одна — наполовину пустая, отцовская. И вторая — нетронутая, с остывшим чаем. Материнская.

Галя заплакала. Она поняла, что последний год он прожил не один. Он жил с ней. С той, которую он не замечал всю жизнь, но которую так глубоко полюбил, когда ее не стало.

Она убирала дом, разбирала вещи, и везде находила следы их странной, искалеченной, нелепой любви. Она нашла под кроватью старый крючок, которым мама заколачивала щели. Она нашла записку, написанную отцом дрожащей рукой:

«Нюра, я нашел твой крючок. Он лежал в сарае. Я починил его. Не бойся сквозняков, я теперь буду сам заколачивать».

Он выучил ее язык. Он стал ее тенью. Но было поздно.

Страница 20

Это история о любви, которую не замечают, пока она не умрет. Нюра тряслась за Петра. Она умерла от этой тряски. Петр выжил, но потерял себя. А когда он нашел себя, понял, что ему не нужна жизнь без той, кто была его смыслом.

И теперь на том пригорке, где ветер дует в щели, стоит пустой дом. Окна его выходят в поле. Внутри тихо. Только ветер гуляет по половицам да скрипит старая дверь в ванную.

Если вы войдете туда, вы почувствуете запах машинного масла и сухой мяты. Вы увидите стол, покрытый клеенкой, и две чашки на нем. Одну — дедовскую, с оббитым краем. Другую — бабкину, с маленьким цветочком. Вы не найдете там пыли, потому что Галя убирает дом каждую весну, как обещала матери.

Но если прислушаться, можно услышать шепот. Грубый мужской голос, переходящий в плач, и тихий, усталый женский, который успокаивает:

— Петя, ну чего ты? Я здесь. Я всегда здесь была.

Только мы, люди, слышим это слишком поздно. Когда

чашки остывают. И когда в доме уже никого нет...

Ананда

1

Он вошел в ворота ИК-17 не как заключенный, а как человек, который случайно ошибся дверью. Конвойные, привыкшие к запаху страха — кислому, резкому, — в этот раз растерянно переглянулись. От него пахло сандалом и утренним чаем. Никто не знал, что на самом деле он не был монахом. Он был тишиной, принявшей облик человека.

Звали его Ананда. По документам — Андрей Николаевич Кузнецов, статья 228.2, особо крупный размер. Но для сокамерников он сразу стал просто «Лысый». За глаза — «Йог». Хотя йогой он не занимался. Он сидел на нарах, сложив руки на коленях, и смотрел в одну точку на ржавой сетке окна. Смотрел так, будто за этой сеткой был не бетонный забор с колючкой, а бескрайний океан.

Первая ночь стала для всех шоком. В камере, где сидели три убийцы и один медвежатник, было шумно. Скрипели койки, кто-то материл судьбу, где-то в коридоре выли сирены. Ананда спал. Он просто закрыл глаза, и через минуту его дыхание стало таким ровным, что казалось — он умер.

Сокамерник по кличке Шкипер толкнул его в бок:

— Эй, псих! Ты чего?

Ананда открыл глаза. Они были влажными и ясными, как у ребенка, которого только что разбудили на рассвете.

— Я здесь, — тихо сказал он. — А где ты?

Шкипер опешил. Он показал пальцем на решетку, на бушлат, на грязный пол.

— Ты че, дурак? Где мы, не видишь?

Ананда улыбнулся. У него были белые зубы, не тронутые тюремной жвачкой.

— Я вижу комнату. Ты видишь камеру. Мы оба правы. Но разница в том, что я знаю, что комната закончится, а камера — никогда не начиналась.

Шкипер сплюнул и отвернулся. Он решил, что у новенького «крыша поехала». Но ночью, когда Шкиперу приснился его кошмар — та женщина, которую он зарезал в подъезде, — он проснулся в холодном поту. Ананда сидел рядом. Он не касался его, но в тишине камеры раздался его голос:

— Ее нет. Там, где она была, сейчас только пустота. И ты сейчас — тоже пустота, которая приснилась себе убийцей.

Шкипер хотел ударить его. Замахнулся. Но рука остановилась в воздухе, потому что Ананда не моргнул. Он видел руку Шкипера не как угрозу, а как движение воздуха. Как облако.

— Бей, — сказал Ананда. — Но знай: боль — это тоже мысль. И она сейчас здесь, в твоем кулаке. А завтра ее не будет. Есть только сейчас. Сделай это сейчас или не делай сейчас. Другого момента нет.

Шкипер опустил руку. Он вдруг понял, что если ударит, то этот удар будет длиться вечность, потому что другого времени нет. Он сел на корточки и заплакал. Впервые за пятнадцать лет.

Тактика тюремного начальства была проста: сломать, унижить, подчинить. Полковник Степанов, мужчина с лицом, вырезанным из мокрого гранита, лично проводил «воспитательные беседы». Он вызвал Ананду в кабинет. Вокруг стояли два здоровенных прапорщика с дубинками.

— Кузнецов, — Степанов говорил медленно, вдавливая слова в стол. — Ты у нас философ? Здесь лес. Здесь волки. Ты поймешь, что твое «сейчас» кончится, когда я выпишу тебе ШИЗО на пятнадцать суток. Там одиночка. Там бетон. Там тишина. Там ты сойдешь с ума.

Ананда кивнул. Он смотрел на полковника с нежностью, с какой смотрят на заблудшего ребенка.

— Вы боитесь тишины, — сказал он. — Вы думаете, бетон давит. Но бетон не давит. Он просто стоит. Это ваши мысли давят. Вы сейчас здесь, в этом кабинете, но вы уже в штрафном изоляторе, потому что вы уже боитесь его. Вы живете в будущем, господин полковник. Вы там, а не здесь. Посмотрите на эту лампу. Видите, как она горит?

Степанов перевел взгляд на лампу. Обычная лампа днев-

ного света, гудела слегка.

— Она горит только сейчас. Каждое ее мгновение — это новая лампа. Вы видите одну и ту же лампу, но она умирает и рождается каждый миг. Разве это не чудо?

Полковник почувствовал, как его лицо заливается краской. Он не привык, чтобы заключенные смотрели на него сверху вниз. Он хотел рявкнуть, но вместо этого спросил:

— Как тебя зовут?

— В этом здании — Ананда. Но там, где я родился, у меня нет имени. Имена нужны для прошлого. А прошлого нет.

Прапорщики переглянулись. Они ждали команды бить. Но Степанов молчал. Он смотрел на лампу. И ему показалось, что на секунду гул лампы стал тише, а свет — теплее. Он тряхнул головой.

— Уведите, — прохрипел он. — В карцер. На двое суток.

Но когда Ананду выводили, Степанов почувствовал странное опустошение. Ему вдруг показалось, что это его, Степанова, ведут в карцер. Что это его душа сидит сейчас за решеткой. Он достал из ящика коньяк, налил стакан, но пить

не стал. Он смотрел на свою руку и думал: «Где сейчас эта рука? Здесь. Только здесь».

Карцер — это даже не помещение. Это щель между бетонными плитами. Темнота, холод, сырость и тишина, которую можно резать ножом. Ананду завели внутрь, и дверь захлопнулась с лязгом, который, казалось, разрывает время пополам.

Он сел на бетонный пол, скрестил ноги. Привычным жестом поправил край робы. В кармане у него ничего не было, даже четок. Но он не нуждался в предметах. Он закрыл глаза. Через час он открыл их.

В карцере было темно. Но он видел все. Не глазами, а какой-то внутренней флуоресценцией. Он видел царапины на стенах, оставленные предыдущими обитателями. Он видел букву «А», выцарапанную ногтем. Он видел соль, выступающую на бетоне. И он видел время.

Нет, не так. Он видел, что времени нет. Прошлого этого карцера, все эти крики, молитвы, проклятия — они были здесь, но они не существовали. Они были как рябь на воде после того, как лодка уже уплыла. А вода уже успокоилась. Он улыбнулся в темноте. И стены вдруг перестали давить. Они просто стояли.

Он запел. Тихо, монотонно. Это был не буддийский гимн. Это был просто звук «Ом», который рождался в его груди и расплывался по камере. Звук отражался от стен, возвращался, и вдруг... охрана за дверью услышала его.

Старший прапорщик Колян сидел за столом, пил чай из алюминиевой кружки. Внезапно он замер. Ему показалось, что звук проникает сквозь металл двери, сквозь его китель, сквозь кожу. Он положил кружку. Он вспомнил, как в детстве бабушка водила его в церковь, и там было так же — тихо, густо и бесконечно. Колян нажал кнопку интеркома:

— Эй, ты там, монах? Заткнись!

— Заткнись, — повторил голос из карцера. Но это было не эхо. Голос говорил с ним изнутри него самого. — Заткнись, Колян. Послушай.

Колян отшатнулся. Он не говорил ему своего имени. Откуда? Он поднес пальцы к виску. И вдруг он понял, что слышит не пение. Он слышит собственное сердцебиение. Впервые за двадцать лет работы. Он услышал, как кровь бежит по венам, как мышцы сокращаются. Он услышал звук жизни. И это был тот же звук, что пел Ананда.

Через двое суток Ананду выпустили. Он вышел из карцера не обессиленным, а отдохнувшим. Он выглядел так, будто спал на перине.

Степанов ждал его в коридоре. Он лично пришел встречать. За спиной полковника стоял Колян с красными глазами. Колян не спал эти двое суток. Он пытался вспомнить, где он был до того, как родился. И он ничего не вспомнил, но это ощущение — абсолютная пустота до рождения — показалось ему не страшным, а родным.

— Ну что, философ, — сказал Степанов, но в его голосе не было металла. — Наслаждался тишиной?

Ананда посмотрел на него. Он посмотрел на часы у Степанова на руке. Большие, командирские.

— Ваши часы идут, — сказал Ананда. — Но они идут только здесь. Там, где я был, они стояли. Потому что там не было времени. Там были только вы, полковник. Вы пришли ко мне туда. Вы кричали. Вас там не было, но вы были. Вы звали маму.

Степанов побелел. Ему приснился сон в ту ночь. Ему при-
снилась его мать, умершая десять лет назад. Она стояла в по-
ле и звала его по имени. Он проснулся в слезах. Он никому
не рассказывал об этом.

— Откуда ты... — начал он.

— Оттуда же, откуда все, — улыбнулся Ананда. — Из сей-
час. В «сейчас» нет секретов. Есть только факт. Вы плакали.
Это было красиво. Вы были настоящим.

Степанов взял его за локоть. Но это была не хватка кон-
воира. Это была просьба.

— Научи меня, — прошептал он. — Как мне забыть про-
шрое?

— Не надо забывать, — ответил Ананда. — Надо увидеть,
что его нет. Оно как этот коридор. Вы идете по нему, но вы
уже прошли начало. Начало исчезло. Есть только шаг, ко-
торый вы делаете сейчас. Не оглядывайтесь. Сделайте шаг.
Прямо сейчас.

Степанов сделал шаг. Буквально. Переступил с ноги на
ногу. И ему показалось, что мир качнулся. Он перестал быть
полковником на мгновение. Он стал просто человеком, пе-

реставляющим ноги. Воздух стал плотнее. Он вдохнул.

— Хорошо, — сказал он.

Процесс не был быстрым. Тюрьма — это машина, которая перемалывает души. Но Ананда оказался песком, который забил шестерни.

Он начал с того, что просто перестал реагировать на команды. Но не как бунтарь — как глухой. Когда надзиратель орал «Подъем!», Ананда вставал. Но он вставал не потому, что слышал приказ, а потому что пришло время вставать. Он синхронизировал свои действия не с расписанием, а с внутренним ритмом вселенной.

Сокамерники сначала смеялись. Но потом они заметили странную вещь. Вокруг Ананды всегда было спокойно. Даже когда в соседней камере началась драка, и крики разносились по этажу, за перегородкой, где сидел Ананда, стояла звенящая, бархатная тишина. Эта тишина перетекала под дверь. Драка стихала. Убийцы садились на пол и замолкали. Они не знали, что делать с этим ощущением. Они привыкли к шуму. А тут — как вода.

К нему начали приходить. Не вечером, тайком, а открыто. Приходили авторитеты. Приходил вор в законе по кличке Седой. Он сел напротив Ананды и долго смотрел в его лы-

сую голову.

— Слушай, философ, — сказал Седой. — Ты говоришь, прошлого нет. А как же мои дела? Как же мои погоны, мой авторитет? Это всё нажитое, оно что — не существует?

Ананда взял ложку — простую тюремную ложку — и поднес ее к глазам Седого:

— Видишь металл?

— Вижу.

— Он был рудой. Потом его расплавили. Потом сделали ложку. Где сейчас руда? Где расплав? Есть только ложка. Ты — эта ложка. Ты не вор. Ты не авторитет. Ты просто человек, который сидит и держит ложку. Всё остальное — надписи, которые стерлись.

Седой взял ложку. Он повертел ее. Он ожидал, что она исчезнет. Она не исчезла. Но он вдруг ощутил ее вес. Настоящий, физический вес. Не как символ тюремной жизни, а как кусок железа в его руке.

— А если я ударю тебя этой ложкой? — прохрипел он.

— Ты ударишь сейчас. И сейчас будет боль. А потом ложка упадет. И будет тишина. Где будет боль? В прошлом. А прошлое — это не ложка. Прошлое — это память о том, как ложка ударила. Но удара уже нет. Он исчез.

Седой не ударил. Он положил ложку на стол. Он вдруг понял, что боится не удара, а того, что после удара ничего не останется. Он боялся пустоты. А Ананда боялся только шума.

Через месяц тюрьма изменилась. Не документально, не юридически. Морально. Охрана перестала орать. Надзиратели перестали бить. Это произошло не по приказу сверху. Это произошло потому, что смотреть в глаза Ананды и при этом думать о том, как ты накажешь его завтра, было невозможно. Он смотрел так, будто завтрашнего дня не существует. И ему верили.

Полковник Степанов начал приходить в камеру лично. Без конвоя. Он приносил чай. Он садился на корточки, как равный, и пил этот отвратительный, терпкий тюремный чай из стакана с ободранной эмалью.

— Ананда, — говорил он, — я вижу, что это работает. Я стал спокойнее. Я перестал бить жену. Я понял, что когда я бью ее, я живу в прошлом, где она меня оскорбила. Но она оскорбила меня в прошлом. А сейчас она просто женщина, которая молчит. И я перестал бить.

Ананда кивал. Он гладил рукой бетонную стену.

— Вы молодец, полковник. Вы увидели. Но все остальные? Посмотрите на прапорщика Иванова. Он стоит там, в

коридоре. Он держит автомат. Он думает, что этот автомат защищает его от будущего. Но будущего нет. Есть только сейчас, и сейчас у него в руках металл. Он боится металла. Освободите его.

Степанов вышел к Иванову. Иванов стоял бледный. У него тряслись руки. Он не знал, что происходит. Он слышал через микрофон всё, что говорил Ананда.

— Сними оружие, — сказал Степанов.

— Но, товарищ полковник...

— Сними. Сейчас. Не завтра. Сейчас.

Иванов положил автомат на пол. И заплакал. Он не плакал от страха. Он плакал от облегчения. Тяжесть ушла. И мир стал легче. Впервые за десять лет.

Слух о монахе дошел до начальника управления. Приехала комиссия. Высокие чины в погонах, с папками и сухими лицами. Они смотрели на Ананду как на клопа, которого нужно задавить.

— Вы создаете секту, — сказал генерал. — Это противоречит распорядку.

— В каком времени, генерал? — спросил Ананда. — В том, где есть секты? Или в том, где есть просто люди?

Генерал нахмурился. Он не привык к тому, чтобы заключенные задавали вопросы.

— В настоящем, — рявкнул он.

— Тогда где оно? — Ананда обвел рукой кабинет. — Это настоящий момент? Вы сейчас здесь, или вы уже в машине, которая везет вас домой? Вы смотрите на меня, но вы уже видите свой обед. Вы пьете чай, но вы уже чувствуете, как он остынет. Где вы, генерал? Где вы сейчас?

Генерал попытался сосредоточиться. Он посмотрел на

чашку в своей руке. Он действительно уже продумывал, как напишет рапорт. Он понял, что его нет здесь. Его нет в комнате. Он уже уехал. Он замер. Он попытался вернуться. Он посмотрел на свет лампы. И свет замер. Наступила пауза.

Это была длинная пауза. Пять секунд. Десять. Генерал молчал. Ананда молчал. В комнате было слышно, как тикают наручные часы генерала. Они тикали — тик-так, тик-так.

— Вы слышите, — сказал Ананда. — Сейчас есть «тик». Сейчас есть «так». Но где между ними «тик-так»? Между ними ничего нет. Только переход. Вся ваша жизнь — это переход. Вы никогда не были в «тик-так». Вы были в тике, а теперь вы в таке. И эти моменты бесконечно маленькие. Но если сжать их, они становятся вечностью.

Генерал поднял руку. Он приказал конвою выйти. Они остались вдвоем.

— Что ты хочешь? — спросил генерал. — Свободы?

— Свобода есть сейчас, — сказал Ананда. — Если я выйду за дверь, я поменяю одну клетку на другую. Небо — это тоже потолок. Земля — это тоже пол. Я не хочу свободы. Я хочу, чтобы вы увидели. Это всё. Только это.

Генерал посмотрел на него странным взглядом. Он вдруг увидел не заключенного, а человека, который сидит точно так же, как сидел он сам в своей комнате, когда ему было семнадцать, и он мечтал стать летчиком. Он увидел юность. Он увидел момент, когда он был свободен. И он понял, что этот момент не прошел. Он просто спрятался.

Прошло шесть месяцев. Тюрьма расцвела. Это звучит странно, но там, где раньше были драки и кровь, появились улыбки. Зэки сажали цветы в консервных банках на подоконниках. Они поливали их, и у них не уходили руки, чтобы ударить друг друга. Потому что удар требовал прошлого — обиды. А обиды исчезли.

Охрана садилась играть с заключенными в шахматы. Не для галочки, не надзирая, а просто играя. Начальник Степанов отменил ночные проверки — он сказал, что заключенные сами придут на утреннюю переключку. И они приходили. Все. Без опозданий.

Казалось, что Ананда сотворил чудо. Но чуда не было. Была только ясность.

И вот однажды, в обычный вторник, когда солнце пробивалось сквозь решетки, окрашивая бетон в медовый цвет, Ананда встал с нар. Он подошел к двери камеры. Он постучал. Тихо, вежливо, как гость.

Прапорщик Колян открыл волчек.

— Выйти, что ли? — спросил он, уже не сомневаясь в его праве.

— Нет, — ответил Ананда. — Скажи полковнику, что сейчас.

Колян переглянулся с напарником. Побежал звать Степанова.

Через пять минут Степанов стоял у камеры. За его спиной собрался весь блок. Зэки, охранники, даже повар из столовой. Все ждали. Ананда сел на пол. Он сидел ровно, как статуя.

— Полковник, — сказал он. — Вы вспомните этот день, и вы скажете, что это было «тогда». Но его нет. Смотрите.

Он поднял руку. Сделал жест, будто разрывает невидимую ткань. И вдруг в коридоре погас свет. Сработала аварийная система — но она не сработала. Просто лампы перестали гореть. Все. Тьма. Но не черная, а какая-то теплая, осязаемая.

В этой тьме Ананда заговорил. Его голос звучал из каждого угла, из каждой поры бетона.

— Вы привыкли, что время — это река. Но река течет

только в вашей голове. За окном листья шевелятся от ветра. Вы думаете, это ветер дул минуту назад и продолжает дуть. Но ветер, который дул минуту назад, уже стих. Этот ветер — новый. Каждый миг — новый мир. Вы всегда стоите на пороге. Никогда не входите.

Он замолчал. Свет загорелся снова. Лампы вспыхнули ровным, холодным светом. Но на месте, где сидел Ананда, было пусто. Нар нет. Робы нет. Ничего. Только легкий запах сандала и... остывшего чая.

Начался хаос. Заключенные заорали. Охрана вскинула оружие. Степанов бросился к камере, он шарил руками по бетонному полу, по нарам — ничего. Ананда исчез. Не в виде фокуса. Физически. Тела не было. Он просто перестал быть в этом «сейчас». Или это «сейчас» перестало быть для него.

...Следствие длилось неделю. Проверили все записи. Камеры видели, как он садится на пол, и в следующем кадре — пустота. Ни двери не открывались, ни люков. Ничего.

Полковник Степанов сошел с ума. Но сошел не в клиническом смысле. Он уволился из органов. Он купил билет до Индии. Но перед отъездом он сделал странную вещь. Он пришел в ту камеру, где сидел Ананда, и сел на то же место. Он сидел там два дня. Без еды. Без воды. Он слушал тишину.

На второй день, ровно в момент, когда часы показывали полдень, он открыл глаза. К нему пришла охрана, но он не дал себя увести. Он сказал:

— Не бойтесь. Я вернусь.

Он встал, прошел через ворота, через зону, через КПП. Его не остановили. Потому что он шел так, будто его там не было.

...Спустя три года ИК-17 расформировали. Не по указу президента, а потому что она опустела. Зэки вышли по амнистии, но странным образом: никто не совершал новых преступлений. Их выпускали, и они уходили в мир. И мир менялся. В городах появлялись люди, которые перестали спешить. Которые смотрели на часы и смеялись. Которые не боялись смерти.

Степанов стал странствующим учителем. Он не носил рясы. Он носил старый полковничий китель без погон. Он ходил по рынкам, по вокзалам, садился рядом с бомжами и говорил: «Посмотри на этот окурок. Он горит только сейчас».

Но настоящая неожиданность пришла, когда один журналист решил написать книгу об этом феномене. Он копался в архивах ФСИН. Он нашел личное дело Ананды. Там было написано, что Андрей Николаевич Кузнецов родился в 1960 году, был осужден в 1985-м, и... умер в 1986-м в той самой камере от воспаления легких.

Да. Труп был. Был акт. Был протокол. Его похоронили на тюремном кладбище под номером 47.

Журналист поехал на кладбище. Он нашел могилу. Он раскопал её (с разрешения). Гроб был пуст. Но на дне гроба лежала не истлевшая ткань, не кости, а маленькая, сухая веточка сандалового дерева.

И под ней — записка. Написанная на бумаге, которая не поддавалась времени. Там было написано:

«Вы искали меня в прошлом. Но я никогда не был там. Я был в том моменте, когда вы читаете это. Привет из ниоткуда. Твое время — сейчас. Читай — и ты мёртв. Доиграй — и ты жив. Выбирай. Только быстро, мгновение кончается.

P.S. Я не был заключённым. Я был тем, кто напомнил стенам, что они тоже хотят танцевать. Теперь они танцуют. Ты слышишь?»

Журналист поднял голову. Вокруг кладбища дул ветер. И ему показалось, что плиты на могилах шевелятся. Они двигались в такт какому-то древнему ритму. Он закрыл глаза. Он вспомнил, как сидел дома в детстве, как мама звала его ужинать. И он осознал, что это «сейчас» такое же, как и тогда. Он улыбнулся. Он порвал записку.

Ветер подхватил клочки и развеял их.

И в этот момент в городе, на другом конце страны, один прапорщик Колян, который давно уволился и стал фермером, чинил забор. Он вдруг остановился, посмотрел на небо и крикнул в пустоту:

— Эй, Лысый! Я понял!

Ему никто не ответил. Но в тот же миг перестали идти его часы. Навсегда. И он не стал их заводить. Он пошел в дом, сел за стол, налил чаю. И в тишине, без тиканья, он выпил его до дна.

Это был самый долгий глоток в его жизни.

А в кабинете, где когда-то сидел генерал, теперь была обычная библиотека. И на самой верхней полке стояла книга, которую никто никогда не открывал. Называлась она «Тишина в корпусе». И на первой странице было написано одной фразой: «Если вы держите эту книгу, значит, я все еще здесь. Откройте меня. Я — не текст. Я — дверь».

Книга открывалась. Но тот, кто открывал, навсегда забывал, как выглядит циферблат.

А Ананда... Он был там же, где и всегда. В том самом «сейчас», которое вы так и не научились видеть...

БЕЗ ИМЕНИ

1

Это случилось в среду. Он запомнил день, потому что по средам у него была планерка, которую он ненавидел. Он выехал из офиса поздно, в половине двенадцатого. За окнами моросил тот самый осенний дождь, который не прекращается, а просто меняет угол наклона. Дворники скрипели, как старые птицы. Он думал о том, что утром нужно отправить отчет, и о том, что жена, наверное, уже спит, и о том, что жизнь проходит, а он сидит в этом кожаном кресле и ездит по одной и той же трассе уже семь лет.

Он не видел человека. Он вообще никогда не видел людей ночью на этой дороге. Только фары встречных машин, редкие, как выстрелы, и мокрый асфальт, похожий на кожу гигантского животного.

Удар был глухим. Не громким, как в кино, а каким-то тяжелым, вязким. Машина дернулась, и он услышал, как что-то мягкое стукнулось о капот и откатилось в сторону. Он нажал на тормоз, и автомобиль занесло на мокрой ливне. Он остановился через пятьдесят метров. Сердце било где-то в

горле, а пальцы, сжимающие руль, побелели.

Он посмотрел в зеркало заднего вида. Там, в красных огнях стоп-сигналов, на асфальте лежало тело. Оно не двигалось.

Он хотел выйти. Он даже открыл дверь, и в салон ворвался холодный, мокрый ветер. Но ноги не слушались. Он смотрел на этот темный сверток на дороге и думал: «А если он мертв? А если я позвоню в полицию, меня посадят? У меня дети. У меня ипотека. Я не хотел. Я просто ехал».

Мысль о том, чтобы выйти и помочь, длилась ровно три секунды. Потом он захлопнул дверь, включил передачу и нажал на газ. Колеса противно взвизгнули, и машина рванула вперед, в темноту, оставляя за спиной мокрый асфальт и неподвижное тело.

Он не обернулся.

2

Дома он не спал. Он сидел в гостиной и смотрел на аквариум. Рыбки плавали туда-сюда, не зная, что их хозяин только что, возможно, убил человека. Он ждал звонка. Он ждал, что сейчас зазвонит телефон и голос скажет: «Выезжайте, мы

знаем». Но телефон молчал. Жена во сне что-то бормотала за стеной, и этот звук казался ему насмешкой.

На утро он включил новости. Он всегда включал новости, стоя у плиты, пока грел кофе. Ведущая что-то рассказывала о курсе доллара, о встрече министров, о погоде. Ничего. Никаких сводок о ДТП на трассе. Никаких «разыскивается водитель».

Он поехал на работу по той же дороге. Он ехал медленно, вглядываясь в обочину. На том месте, где вчера лежало тело, ничего не было. Только мокрые листья и темное пятно, которое легко можно было принять за масло.

Он вздохнул с облегчением. Наверное, тот человек выжил. Наверное, встал и ушел. Или его увезла скорая, но он не захотел говорить, кто его сбил. Люди такие. Он хотел в это верить.

Но внутри, где-то под ложечкой, сидел холодный комок. Он знал, что тот человек не встал. Он знал, что удар был слишком сильным. Он знал, что он убил его. И сейчас это знание лежало внутри него, как проглоченный камень.

Прошла неделя. Никто не пришел. Полиция не стучала в дверь. Он начал привыкать. Он даже перестал вздрагивать, когда слышал сирену. Он думал, что справился.

Но ночью он проснулся от того, что услышал звук. Глухой, вязкий удар. Он сел в кровати, весь в поту. В комнате было тихо. Только часы тикали на стене. Он понял, что звук шел из его головы. Он слышал его снова и снова. Каждый раз, когда он закрывал глаза, он видел темную фигуру на асфальте и красные огни, уходящие вдаль.

Он начал избегать людей. Ему казалось, что все знают. Сосед, который здоровался с ним в лифте, смотрел как-то странно. Коллега, который спросил, как дела, явно издевался. Он начал запирается в своем кабинете и не выходить на обед.

Он перестал смотреть в зеркало. Он боялся увидеть там не себя, а кого-то другого. Того, кто лежал там, на дороге.

Через месяц он ушел с работы. Он сказал жене, что хочет взять отпуск, что ему нужно побыть одному. Она не поняла, но не стала спорить. Она всегда была слишком покладистой,

слишком хорошей. Он ненавидел ее за это покладистость, потому что она не давала ему повода сорваться и убежать.

Он собрал рюкзак. Денег у него было достаточно. Он сел в машину и поехал на север.

4

Он решил, что если спрятаться в городе, то найдут. В городе слишком много глаз, камер, слишком много людей, готовых заявить на тебя в полицию за то, что ты неправильно припарковался. Природа — другое дело. В лесу нет камер. В горах нет доносчиков.

Он приехал в маленькую деревню на берегу реки. Снял комнату у старухи, которая почти ничего не видела и не слышала. Дни тянулись медленно, как смола. Он ходил на рыбалку, сидел на крыльце и смотрел на облака. Он пытался забыть.

Но в тишине, среди этого покоя, голос в голове звучал громче. Он слышал не только удар. Он начал слышать дыхание того человека. Он представлял, как тот лежит на холодной земле, один, под дождем, и смотрит на небо. И в этом небе нет Бога. Есть только равнодушные звезды.

Он пробыл там две недели и сбежал оттуда. Он понял, что природа не лечит. Природа лишь отражает твой страх. Ты сидишь у реки, а река течет, и кажется, что она уносит твои мысли, но на самом деле она их возвращает.

Он поехал дальше.

5

Он попал в монастырь случайно. Он заблудился, колесил по разбитым дорогам, и вдруг перед ним выросли белые стены и золотые купола. Это был маленький скит, затерянный среди холмов. Он вошел в ворота, и его встретил старый монах в тяжелой черной рясе.

— Что ищешь? — спросил монах.

— Покоя, — ответил он.

— Здесь его нет, — сказал монах. — Здесь есть только работа.

Ему разрешили остаться. Он жил в келье, вставал в пять утра, пилил дрова, носил воду, чистил картошку на кухне. Руки его болели, спина ныла, но физическая боль была спасением. Когда он уставал так, что не мог шевелить пальца-

ми, он засыпал мгновенно, без снов. Это было лучшее, что случилось с ним за последние месяцы.

Но сны все равно вернулись. Через две недели, когда его тело привыкло к нагрузкам, он снова начал просыпаться по ночам. Он слышал тот же глухой стук. Он видел ту же дорогу. Только теперь вместо одного тела на асфальте лежали два. Или три. Ему казалось, что он давил людей сотни раз.

Он перестал есть. Он худел, глаза его впали, и он походил на скелета в одежде. Монахи смотрели на него с жалостью, но не лезли в душу.

6

Он уехал из того монастыря, когда понял, что стены не спасают. Зло было внутри, а не снаружи. Он переезжал из одного храма в другой, из одной церкви в следующую. Он искал святого места, где его не найдет прошлое.

Он был в Валаамском монастыре, где ветер с Ладоги пробивал до костей. Он был в маленьких деревянных церквушках в Карпатах, где на исповедь приходили раз в месяц. Он работал звонарем, прислуживал в алтаре, он целовал иконы и клал земные поклоны.

Но иконы молчали.

Однажды он стоял у мощей какого-то святого и молился. Он просил, чтобы его простили. Он просил, чтобы тот человек на дороге оказался жив. Он просил, чтобы Господь забрал этот страх. Но в голове звучал только холодный голос: «Ты трус. Ты сбежал. Ты даже не посмотрел ему в глаза».

Он понял, что вера не приходит через механическое битье лбом о пол. Она не приходит от того, что ты носишь тяжелые вериги или стоишь на коленях сутки. Это всё бегство. Бегство от того, что нужно было сделать тогда, в ту ночь — просто выйти из машины.

7

Прошло три года. Он выглядел на десять лет старше. Волосы его поседели, спина сгорбилась. Он давно перестал считать дни.

Он пришел в последний монастырь. Это был крошечный скит на берегу холодного озера, где жили всего три монаха. Старцем там был отец Алексей — низенький, коренастый старик с большими руками и глубокими, серыми глазами, которые, казалось, видели не лицо, а то, что за ним.

Отец Алексей не задавал вопросов. Он просто поставил его на послушание — копать землю для будущего огорода. Земля была каменистой, промерзшей. Он копал, и каждый удар лопаты отдавался в позвоночнике.

Он копал три дня. А на четвертый, вечером, когда солнце садилось за озеро и вода стала черной, как нефть, он подошел к отцу Алексею в трапезной.

— Я хочу исповедаться, — сказал он. — По-настоящему.

Старик посмотрел на него и кивнул.

— Идем

8

Церковь была маленькой, деревянной, пахло сухим деревом и ладаном. Горела одна свеча у иконы Спасителя. Он встал на колени перед аналоем. Рядом стоял отец Алексей, накрыв его епитрахилью.

— Говори, — тихо сказал старик.

И он заговорил.

Он говорил долго. Он говорил о той ночи, о дожде, о глу-

хом ударе. О том, как он смотрел в зеркало и не вышел. О том, как бегал по лесам и горам, думая, что Бог спрячет его. О том, как он ненавидел себя за трусость и за то, что он живет, пока тот человек, возможно, лежит в сырой земле. Он говорил о том, что его сердце превратилось в камень, и он не чувствует ничего, кроме страха.

Голос его дрожал, слезы текли по лицу, падая на деревянный пол.

— Я убил человека, — сказал он в конце. — И я не знаю, как жить дальше.

Отец Алексей молчал. Слышно было, как за окном завывает ветер, и как дрова потрескивают в маленькой печурке. Старик поднял руку и перекрестил его.

— Сын мой, — сказал отец Алексей, и голос его был таким же холодным, как озерная вода. — Ты столько лет скитался по монастырям, вымаливая прощение. Ты искал покой в стенах и в правилах. Но ты не понял главного.

Он поднял голову, смотря на священника мутными, заплаканными глазами.

— Ты не сбегашь от правосудия, — продолжил старик.

— От людей сбежать можно. Поменять документы, уехать в другую страну, умереть на бумаге. Но ты пытаешься сбежать от своей собственной тени. Ты думаешь, что если приедешь в святое место, то святость омоет тебя. Но святость — это не география.

Он всхлипнул, пытаясь успокоиться.

— Человек, который не знает, как быть свободным, пытается убежать от мира, — сказал отец Алексей. — Ты убежал. В леса, в горы, в храмы. Но мир нельзя покинуть, потому что он повсюду. Он даже здесь, в этой маленькой церкви. Он в этих стенах, в этом воздухе, в тебе самом.

Священник наклонился ближе, и в его глазах, наконец, мелькнуло что-то человеческое.

— Тот, кто пытается убежать, создаёт себе тюрьму из собственного страха. Твоя тюрьма — не ГУЛАГ и не Сибирь. Она внутри твоего черепа. И ты носишь её с собой везде. Ты сел в машину и уехал, но ты никуда не уехал. Ты остался там, на той дороге.

— Как же мне быть? — прошептал он.

— Свобода — не в бегстве, а в отсутствии страха, — отве-

тил старик. — Но ты не сможешь избавиться от страха, пока будешь прятаться. Страх — это не монстр. Страх — это вопрос. И он требует не молитв, а ответа.

Отец Алексей помедлил и спросил:

— Как выглядел тот человек?

Он замер. Он понял, что за три года он ни разу не задал себе этот вопрос. Он помнил удар, помнил тело, но лица он не видел. Фары светили на асфальт, но лицо было скрыто тенью.

— Я не знаю, — сказал он.

— Тогда ты не знаешь, убил ли ты его, — сказал отец Алексей. — Может быть, он жив. Может быть, он встал и ушел. Может быть, у него даже не было перелома. Ты не знаешь. Ты боишься неизвестности. Но ты даже не дал себе шанса это выяснить.

Он смотрел на старца, и в его глазах появилась растерянность.

— Так что же мне делать?

Отец Алексей взял его за руку. Рука была теплой и шершавой, как кора дерева.

— Ты выйдешь отсюда, — сказал старик. — И ты поедешь в полицию. Ты скажешь им, что случилось. Ты перестанешь бегать. Вся твоя жизнь — это бег по кругу. Бегство заканчивается там, где ты перестаёшь убегать и просто... стоишь на месте.

Он вздрогнул. Ему казалось, что это предложение страшнее самой смерти.

— Но меня посадят! — вскрикнул он.

— Может быть, — спокойно ответил старик. — Но ты уже сидишь. Ты сидишь в камере уже три года. Только камера эта — твоя голова. Там темно и сыро, и пол трясется. Ты предлагаешь мне сидеть там вечность? Сходи туда, где настоящая камера. В ней есть решетка, но она пропускает свет.

Отец Алексей перекрестил его в последний раз и отошел к алтарю.

9

Он выбежал из церкви в холодную ночь. В голове его было

пусто. Лопата все еще лежала у входа, брошенная после работы. Озеро чернело за деревьями, и в нем отражались звезды, далекие и безразличные.

Вся его жизнь, которая ему казалась поиском спасения, на самом деле была лишь актом малодушия. Он искал не прощения, а алиби. Он хотел, чтобы святые места выдали ему справку о том, что он хороший. Но святые места не выдают справок.

Он стоял на берегу и смотрел в эту черную воду. Там, в глубине, он увидел свое отражение. Оно было чужим. Старик. Уставший. Сломленный.

Но вдруг он понял, что в этом отражении больше нет того парня в дорогом пиджаке, который боялся признаться. Вместо него был мужчина, который, наконец, понял, что страх сильнее, чем правда, ровно до тех пор, пока ты не поймешь, что правда проста.

Он выдохнул. Холодный пар вырвался изо рта. Он сел на землю, прямо на сырую осеннюю траву, и, не снимая тяжелой рабочей одежды, лег на спину. Он смотрел на звезды.

И впервые за три года он не слышал того глухого удара.

Вместо удара была тишина.

Глубокая, спокойная, северная тишина.

Он понял: это и есть свобода. Не когда тебя простили. А когда ты перестал просить.

10

Наутро он сказал отцу Алексию, что уходит. Старик молча покивал и благословил его. Он не говорил ему «прощай», а сказал «иди». Как будто это была не дорога к уничтожению, а путь к освобождению.

Он вышел за ворота скита. За его спиной, кажется, в последний раз купол блеснул на солнце, и он двинулся к опушке леса, где оставил свою машину три дня назад. Он собирался доехать до города, до отдела полиции, и сказать: «Я сбил человека. Я не знаю, жив ли он. Возьмите меня».

Он шел по тропинке. Ветер шевелил сухую траву. Было тихо. И спокойно.

Он не заметил, когда пошел снег. Он не заметил, как дорога начала петлять, а туман опустился на холмы. Он шел, погруженный в свои мысли. Он чувствовал странную легкость.

Он знал, что через несколько часов за него примут решение. Он сдаст себя.

Но вдруг он остановился.

Прямо перед ним, на тропе, сидел старик. Незнакомый старик, которого он никогда раньше не видел. Одет он был плохо — в какой-то поношенный ватник и стоптанные сапоги. Лицо его было темным, загорелым, как у бродяги.

Старик сидел на корточках и молча смотрел на него.

— Ты куда собрался? — спросил старик. Голос у него был скрипучий, знакомый.

Он вздрогнул от неожиданности.

— В город, — ответил он. — Сдаться.

Старик хмыкнул.

— Сдаться? Хорошее дело. Только зачем?

— Я убил человека, — сказал он.

— Прямо здесь? — спросил старик.

— Нет. Три года назад. На трассе.

Старик покачал головой.

— Человек. А ты уверен, что это был человек?

Он нахмурился. Что за глупый вопрос? Конечно, человек. Он помнил глухой удар, он помнил, как фары выхватили темное тело, лежащее на асфальте.

— Уверен, — сказал он.

— А ты не думал, что это мог быть зверь? — спросил старик, не сводя с него своих странных, светлых глаз.

— Зверь? — переспросил он. — На трассе?

— Мало ли, — пожал плечами старик. — Зверь перебежал дорогу. В темноте не разобрать. Ночью, да в дождь, да если тормозить резко — любой шум покажется тебе последним. Человеческое воображение, оно страшнее любой смерти.

Он стоял и смотрел на старика. В голове мелькнула странная мысль: а ведь и правда. Он не вышел из машины. Он не увидел лица. Он даже не проверил, кто это был. Три года он

бегал от тени, которую сам же и придумал.

Старик медленно поднялся и отряхнул ватник. Он был низеньким и коренастым. И вдруг он шагнул в сторону, открывая путь.

— Иди, — сказал он. — Иди в полицию. И скажи им, что ты сбил человека. Посмотри, что они тебе скажут.

— Что они скажут? — спросил он, чувствуя, как внутри нарастает странное волнение.

— А ты иди и узнай, — усмехнулся старик. — Может быть, они тебе скажут, что в тот день у них не было заявлений. Может быть, они тебя пошлют домой. Или дадут ориентировку на лося.

Он хотел сказать что-то еще, но старик уже исчез. Просто шагнул в туман, и его не стало. Как будто его и не было.

Он пошел дальше.

11

Он шел по лесу еще около часа, пока не вышел к трассе. Туман рассеялся, и солнце уже стояло высоко. Он сел в свой

старый автомобиль, который стоял у обочины, и завел двигатель. Дорога бежала вперед, знакомая до боли.

Он ехал в город, навстречу своему правосудию. Но в голове теперь звучали не удары, а слова странного старика: «А ты уверен, что это был человек?».

Он приехал в город через два часа. Он зашел в отделение полиции. Он подошел к дежурному и сказал:

— Здравствуйте. Я хочу заявить о том, что три года назад сбил человека на трассе и скрылся с места происшествия. Я был за рулем красной «Тойоты». Я не знаю, жив ли он. Делайте, что положено.

Дежурный офицер посмотрел на него. Высокий, лысоватый мужчина, который оторвался от бумаг и уставился на него с неподдельным удивлением.

— Три года назад? — переспросил он. — На какой трассе?

Он назвал шоссе, ту самую дорогу, по которой ездил на работу.

Офицер нахмурился, пощелкал клавишами старого компьютера, потом взял себя в руки и начал листать какие-то

бумажные папки. В отделении было душно, пахло пылью и кофе. Прошло минут пять. Офицер поднял голову и посмотрел на него с сожалением.

— Вы точно уверены? — спросил он.

— Абсолютно, — ответил он.

Офицер вздохнул, откинулся на стуле и почесал затылок.

— Слушайте, гражданин... — он посмотрел на него, потом на его паспорт, который он взял. — В тот день действительно было одно ДТП на этой дороге. Около полуночи. Там пьяный водитель сбил дорожный знак и улетел в кювет. Мы зафиксировали. А заявлений от пешеходов или из больниц не поступало.

Он замер.

— Но как же? — спросил он. — Я же чувствовал удар. Я сбил человека!

Офицер пожал плечами.

— Может быть, вы сбили животное. В тот год там часто лоси выбегали на трассу. Или собака какая. Или просто... —

офицер поднял голову и внимательно посмотрел на него. — Может быть, вам показалось?

Эти слова ударили его сильнее, чем если бы его надели наручники.

— Как показалось?

— Бывает, — сказал офицер. — Стресс, усталость. Темнота. Резкий звук. Человеческий мозг дорисовывает картину. Вы могли просто переехать яму или наехать на камень. Или на пакет с мусором. А вы решили, что убили человека.

Он стоял посреди дежурной части и смотрел в одну точку. Все, что он выстраивал годами — эта тюрьма из страха, эти монастыри, эти скитания, эти ночи без сна — все это рухнуло в одну секунду. Оказалось, что никакого преступления нет. Оказалось, что он три года истязал себя за то, чего не совершал.

Он медленно вышел из отделения и сел на лавочку возле входа. На улице светило солнце, обычное осеннее солнце, безразличное и спокойное. Мимо проходили люди. Женщины с колясками, дети, старики. Все они не знали, что только что с плеч человека упала тяжесть, которую он сам себе повесил.

Он сидел и плакал. Не от горя. Не от облегчения. От того, что понял всю глубину своей глупости.

12

Он вернулся домой к жене через неделю. Она открыла дверь и не узнала его. Он был седой, худой, но в глазах горел странный, новый свет. Она спросила: «Где ты был?». Он ответил: «Искал себя. И кажется, нашел».

Он больше не ходил в монастыри. Он стал работать простым механиком в маленьком гараже, чинил чужие машины, пах маслом и бензином. Ему было хорошо. Он знал, что не убивал. И это знание дало ему свободу, которую он так искал.

Но иногда, по ночам, он просыпался от глухого удара. Он садился на кровати, прислушиваясь к тишине, и понимал, что это всего лишь ветер хлопнул дверью на кухне.

Он закрывал глаза и снова засыпал. Спокойно. Впервые за много лет — спокойно.

Но через несколько месяцев он приехал на ту самую трассу. Ночью. В такой же дождь. Он остановил машину на том

месте, где когда-то замер в панике. Он вышел из автомобиля, несмотря на холод. Он встал на мокрый асфальт, поднял голову и посмотрел на черное небо.

И вдруг он увидел огни. Далеко, на обочине, в нескольких метрах от того места, где он стоял. Там была невысокая, почти незаметная часовня. Маленькая, деревянная, с покосившимся крестом. Рядом с ней стояла табличка, которую он раньше никогда не замечал: «В память о погибших на этой дороге».

Он подошел ближе. Заглянул внутрь через мутное стекло. Там горела лампадка. А на стене висели фотографии. Много фотографий. Людей, которые разбились здесь насмерть за последние годы.

Он искал глазами лицо. То самое лицо, которого он не видел. И вдруг он увидел. На одной из старых, пожелтевших фотографий был изображен тот самый старик в ватнике. Тот, которого он встретил в лесу, у скита. Старик улыбался. И подпись под фотографией гласила: «Погиб 12 сентября 1987 года».

Это была дата за десять лет до того, как он впервые сел за руль.

Он стоял под дождем, и капли стекали по его лицу, смешиваясь со слезами.

Он понял. Он не сбил человека. Но человек, старик, пришел к нему в лесу не случайно. Он пришел не для того, чтобы мучить. Он пришел, чтобы спасти его от самого страшного — от иллюзии греха, который он сам себе придумал.

Свобода, как и говорил отец Алексей, была не в бегстве и не в наказании. Она была в отсутствии страха. Но страх ушел не тогда, когда он «узнал правду» в полиции. Страх ушел тогда, когда он перестал бояться неизвестности и просто доверился тому, что мир устроен не так просто, как ему казалось.

Он поклонился часовне, развернулся и ушел в ночь. В эту ночь дождь казался ему не мокрым и холодным, а очищающим.

Он больше не прятался. Но и не искал святых мест. Он понял, что святое место — это там, где ты перестаешь быть один на один со своей совестью.

И с тех пор по ночам, если он просыпался от глухого удара, он не вздрагивал. Он просто думал: «Это кто-то из них. Старик. Или тот парень, который сбил знак. Или просто ветер».

И он снова засыпал.

А утром вставал и шел в гараж — чинить чужие машины. Потому что машины не сбивают людей. Людей сбивает страх.

И он больше не боялся.

Повесть о тишине, которая звучит

Глава 1

Он стоял в переходе между станцией «Ветеранов» и «Перспектом». Место было выбрано не случайно. Обычно музыканты цепляются за акустику — стены, своды, плитка. Им нужен резонанс. Ему нужна была тишина. Вернее, тот слой тишины, который находится под звуком.

Его звали Алексей. Или просто Лёха. Для прохожих он был безликим элементом городского пейзажа: потертый чемодан, старая гитара с лопнувшей декой, заклеенной синей изолентой, и глаза, которые смотрели не на людей, а сквозь них.

Рядом гудел эскалатор. Где-то далеко, в недрах бетона, ухал поезд. Эти звуки были фоном. Но Лёха слушал иначе. Он не слышал шум. Он слышал, как вибрирует воздух, как каменные своды давят на звук, сплющивая его до состояния плоской волны. Он играл просто. Три аккорда. Проигрыш. Снова три аккорда.

Люди бросали мелочь. Кто-то останавливался, вслушиваясь, пытаясь угадать мелодию. Ее не было. Это было дыха-

ние. Как если бы сам переход пытался спеть что-то забытое.

Прохожий в дорогом пальто, стоящий напротив и ждущий жену, не выдержал:

— Слушай, мужик, ты сыграть можешь нормально? Блюз, что ли? Чего ты мычишь на одной ноте?

Лёха поднял глаза. В них не было обиды. Только усталость века.

— Я ищу ноту, — сказал он. — Не ту, что звучит. Ту, что должна зазвучать.

— Кончай философию, — фыркнул прохожий и ушел, втянув голову в плечи.

Глава 2

Зимой он играл в подъездах. Там теплее, и звук другой — мягкий, ватный. Батареи центрального отопления гудели на низкой частоте. Лёха прижимал ухо к трубе и слушал гул жезла. Ему казалось, что в этом гуле — голос всего дома. Ссоры на кухне, смех детей, скрип кроватей, тихий плач одинокой старухи с третьего этажа — все это оседало в воде, циркулирующей по трубам, и превращалось в единый басовый гул.

Он садился на корточки, доставал гитару и пытался подстроиться под этот гул. Он не играл мелодию. Он пытался

стать продолжением трубы. Если гул был «Фа-диез», он брал «Фа-диез» и держал его до тех пор, пока их вибрации не сливались воедино.

Однажды к нему подошел дворник дядя Коля.

— Ты чего, Лёха, шизик? — спросил он без злобы. — На холоде сидишь, к железу ластишься.

— Коля, ты слышишь, как вода идет? — спросил Лёха.

— Ну, слышу. Шумит.

— А ты слышишь, как она помнит? Она помнит небо, когда была снегом. Она помнит корни деревьев. Она помнит, как текла по камням. Она несет этот шум с собой, а мы слышим только «ш-ш-ш».

Дядя Коля почесал затылок, достал из кармана полбуханки черного хлеба, отломил горбушку и протянул Лёхе.

— Ешь, философ. Не помирай с голоду.

Глава 3

Лёха когда-то учился в консерватории. Там ему говорили о чистоте тона, о беглости пальцев, о правильной постановке рук. Его выгнали на втором курсе за «непрофессионализм». Профессор, старый маэстро с дрожащими руками, сказал ему тогда:

— Ты не играешь, Алексей. Ты слышишь. Но чтобы играть, этого мало. Надо играть красиво.

— А что красивее правды? — спросил Лёха.

— Правда — это диссонанс, — ответил маэстро. — Правда не играет.

Лёха ушел. Он понял, что консерватория учит управлять звуком, но не учит жить в нем. Для него звук был не инструментом, а субстанцией. Как глина для скульптора. Но глина была везде. В шелесте шин по мокрому асфальту была своя красота. В скрежете трамвайных путей, когда колесо входит в поворот, была своя тоска. Люди старались заглушить эти звуки. Они включали наушники, закрывали окна, ставили глушители. Они бежали от реальности в качественный звук.

А Лёха бежал от качества к смыслу.

Глава 4

Она появилась в конце марта. Стояла, прислонившись к колонне, и слушала. Не как все — не оценивая «нравится-не нравится». Она слушала так, как слушают дождь за окном, когда никуда не надо спешить.

Лёха играл, как обычно: то, что сейчас было в воздухе. Он поймал частоту электричества, бегущего по проводам освещения. Это был тонкий, высокий писк, почти за пределами слышимости. Он взял флажолет на 12-м ладу и позволил ему

раствориться в этом писке.

Она улыбнулась. Подошла ближе.

— Ты знаешь, — сказала она тихо, — наверху, на поверхности, сейчас идет снег. Мокрый, тяжелый. Он падает на провода, и провода поют. Ты сегодня играешь песню проводов.

Лёха вздрогнул. Впервые кто-то назвал его игру не «мычанием», а «песней».

— Ты слышишь? — спросил он, и в голосе его прорезалась надежда.

— Я слышу не звук, — сказала она. — Я слышу то, что между звуками. Паузу. Ты делаешь паузу очень длинной. И в этой паузе — всё.

Они разговорились. Её звали Аня. Она работала в библиотеке и приходила в этот переход, потому что там было тихо по сравнению с улицей. Она понимала его без слов. Она сказала, что мир похож на огромную оркестровую яму, где каждый предмет — музыкант, но дирижера нет. Поэтому какофония.

— А я пытаюсь быть дирижером? — спросил Лёха.

— Нет, — покачала она головой. — Ты пытаешься быть нотой. Ты хочешь стать частью партитуры, а не стоять над ней. Это красиво. Это невыносимо одиноко.

Глава 5

Прошло лето. Они встречались почти каждый день. Она приносила ему бутерброды, он играл для нее. Но мир вокруг жил своей суетой. Мир хотел качества.

Как-то к Лёхе подошел некий продюсер: парень с модной стрижкой и в розовых наушниках.

— Слушай, старик, у тебя есть вайб. — сказал он. — Это сейчас модно. Лоу-фай, грустный гитарист. Давай мы тебя запишем. Хит сделаем. Я тебе звук поставлю: реверберация, дилей, сведение. Будет звучать дорого.

— Дорого — это сколько? — спросил Лёха.

— Ну, не в деньгах дело. В качестве. Мы сделаем тебе качественный звук.

Лёха посмотрел на свои руки. Пальцы были в мозолях. Струны ржавые. Он подумал о том, как качественный звук убивает живую вибрацию. В студии нет ветра, нет шума машин, нет дыхания прохожих. Там стерильно.

— Я не умею делать качественно, — сказал Лёха. — Я умею делать настояще.

Продюсер хмыкнул, пожал плечами и ушел. Аня стояла рядом и молчала. Она знала, что он прав. Но она также знала, что мир не прощает тех, кто отказывается от качества. Мир считает это безумием.

Глава 6

Осенью Аня ушла. Не громко, не со скандалом. Просто однажды не пришла. Через неделю Лёха нашел записку под чехлом. Она была написана на обрывке читательского билета.

«Лёша. Я люблю тебя. Но мне страшно. Ты живешь в звуке, а я хочу жить в квартире с горячей водой и нормальной едой. Это не я такая плохая. Это просто жизнь. Ты хочешь познать ее суть, а я хочу, чтобы она была комфортной. Прости. Мы разные. Ты — звук. Я — тишина. Но мы не можем встретиться, потому что между нами всегда будет шум».

Он прочитал это три раза. Потом положил бумажку в карман. Он не плакал. Он сел на свое место, взял гитару и заиграл. Впервые в его игре появилась мелодия. Простая, грустная, человеческая. Это была песня потери.

Люди, проходящие мимо, останавливались. Они чувствовали боль. Они бросали больше денег, чем обычно. Одна женщина заплакала. Но Лёха не хотел этой мелодии. Мелодия была слишком качественной, слишком понятной. Она нравилась людям. А ему было противно от того, что его боль стала товаром.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.